

Глава 5. Моральные качества «новых людей» в ранней прозе Н.С. Лескова

Творчество **Николая Семеновича Лескова (1831 – 1895)** – одного из величайших русских писателей XIX столетия в силу ряда обстоятельств долгое время не оценивалось по достоинству. Так случилось потому, что в начале 60-х годов, в то время, когда Лесков только начинал свою писательскую карьеру¹, российская общественная и культурная жизнь была чрезвычайно политизирована. Разворачивающиеся в стране события были столь серьезны и значимы для будущего, что положение писателя, пытавшегося неспешно, глубоко и по-возможности беспристрастно разобраться в их существе, было очень не простым. Острота, важность и злободневность стоящих перед Россией как актуальных, так и «проклятых» вопросов требовали однозначных, быстрых и определенных ответов. Казалось, само время исключало возможность спокойного анализа и глубоко продуманных выводов, учета особенностей и полутонов. А.М. Горький по этому поводу отмечал: «В рассказах Лескова все почувствовали нечто новое и враждебное заповедям времени... Лесков сумел не понравиться всем: молодежь не испытывала от него привычных ей толчков «в народ», напротив, в печальном рассказе «Овцебык» чувствовалось предупреждающее – «Не зная броду – не суйся в воду!»... Людям необходимо было верить в свободомыслие мужика, в его жажду социальной правды, а Лесков печатает рассказ «Овцебык», в этом рассказе семинарист пытается внушить мужикам, что всякий лесопромышленник – враг им, мужики соглашаются с пропагандистом... «Это ты правильно!» И тотчас доносят на него купцу: «Гляди, он не в порядке!» Бедняга пропагандист повесился, убедясь, что «через купца – не перескочишь»².

¹ Об обстановке, в которой начинал писать Н.С. Лесков, см. подробную статью Л.А. Аннинского «Катастрофа в начале пути» в т.1. собрания сочинений Н.С. Лескова в шести томах. М., АО «Экран», 1993.

² Горький М. «Несобранные литературно-критические статьи». М., 1941, с. 90, 91.

В известной степени о реакции на свое раннее творчество Лесков мог бы сказать то, что говорил о себе после опубликования «Дыма» Тургенев: его все и со всех сторон «принялись бить палками». Однако в обозначенном положении между Тургеневым и Лесковым имелось существенное отличие. За плечами у автора «Записок охотника» стояло всероссийское и мировое признание, он уже более полутора десятков лет был известен как один из лучших русских писателей. Лесков же, достигший к тому времени тридцатилетнего рубежа, тем не менее свою писательскую карьеру только начинал. Вот почему его положение – необходимость обороны от нападков как со стороны революционно-демократического, так и со стороны право-либерального и правительственного лагеря, было несравненно более сложным.

Задаваясь вопросом о том, почему Н.С. Лесков так поздно начал писать, его сын Андрей в фундаментальном исследовании об отце ответа на этот вопрос не находит, ограничиваясь лишь констатацией очевидного: «Трехлетние деловые странствия по родной земле ознакомили с экономикой и бытовыми условиями всех слоев населения в самых различных участках России, со всем многообразием отраслей промышленности в каждой отдельной местности. Все это приковывало к себе жадное внимание любознательного, молодого, наблюдательного и хорошо подготовленного жизнью Лескова»³.

Нападки были сильны. Революционные демократы не могли согласиться с его критическим изображением персонажей-нигилистов, с его отрицанием идеи о возможности насильственного прогрессивного переустройства русского мира. (Вспомним хотя бы только что упоминавшуюся критическую статью Лескова о романе Чернышевского «Что делать?»). Либералы, солидаризируясь с ним в неприятии самодержавно-крепостнических порядков, в то же время не прощали писателю изображения «ходатаев за

³ Лесков А. «Жизнь Николая Лескова. По его личным, семейным и несемейным записям и памятям в двух томах». М., Художественная литература, 1984. Т. 1, с. 186.

народ» людьми хотя и заблуждающимися, но, как правило, субъективно честными. Объективно возникшая ситуация травли была усугублена так же и тем, что в отношении тех, кто считал писателя идейным противником, Лесков не вырабатывал какой-либо тактики, равно как и не производил отбора среди исследуемых явлений. Так, например, в своих публицистических очерках «Из мелочей архиерейской жизни» он воссоздал ряд бытовых картин, в которых, в дополнение к уже критически обрисованным в его текстах социальным группам, присовокупил изображенных в неблагоприятном свете высших духовных иерархов.

В общем, «критики не знали, как быть с Лесковым – с каким общественным направлением связать его творчество. Не реакционер (хотя объективные основания для обвинения его в этом были), но и не либерал (хотя многими чертами своего мировоззрения он был близок к либералам), не народник, но тем более не революционный демократ, Лесков (как позднее и Чехов) был признан буржуазной критикой лишенным «определенного отношения к жизни» и «мировоззрения». На этом основании он был зачислен в разряд «второстепенных писателей», с которых много не спрашивается и о которых можно особенно не распространяться»⁴.

Традиция неприятия лесковского творчества продолжалась и в советское время и причина этого заключалась в том, что, за исключением небольшого числа произведений, автор не вписывался в коммунистическую трактовку «проклятого прошлого» и «новых людей», как они подавались в романах того же «Н.Г.Ч.». Да и в прямых текстах о современности Лесков давал такие оценки современной ему революционной демократии, что лучшее, что можно было сделать «зодчим коммунистического сознания», – не упоминать о них вовсе. Глубокий знаток жизни автор «Некуда» понимал, что если в результате «насилия во благо» и можно помыслить достижение какого-то позитивного результата, то польза от него будет многократно перекрыта

⁴ Громов П., Эйхенбаум Б. «Н.С. Лесков (Очерк творчества)». В кн. Лесков Н.С. Собрание сочинений в одиннадцати томах. М., Гос. изд-во художественной литературы, 1956, с. XV.

ответным насилием, неминуемо становящимся «насилием во зло». Впрочем, доводы о том, что зло рождает только зло и от этого его в мире становится только больше, не доходили до сознания советских партийно-государственных функционеров и потому Лесков фактически был под запретом вплоть до середины 50-х – начала 60-х годов XX столетия.

Между тем, Лесков знал и живописал русского человека, крестьянина в том числе, основательно, беспристрастно и детально. Сам он по этому поводу говорил так: «Я смело, даже, может быть, дерзко, думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе на гостомельском выгоне с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного, под теплым овчинным тулупом, да на замашной панинской толчее за кругами пыльных замашек, так мне непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе под ноги. Я с народом был свой человек...»⁵

Такие заявления, естественно, не означали писательского автоматически «высокого мнения» о русском народе, как того требовали, например, славянофилы. Лесков беспристрастно изображал разных людей из народа, разную народную жизнь. Так, в первые годы писательства он, по свидетельству сына, «о чем только не писал» - «о борьбе с народным пьянством, о торговой кабале, о раскольничьих браках, о колонизационном расселении малоземельного крестьянства, о поземельной собственности, о народном хозяйстве, о лесосбережении и о дворянской земельной ссуде, о женской эмансипации, о народной нравственности, о привилегиях, о народном здоровье, об уравнивании в правах евреев и т.д.»⁶

Стремление Лескова к изображению действительности «как она есть» так же не означало отсутствия у него собственной политической позиции. Напротив, в 1863 году в «Письмах из Парижа» Лесков отмечает: «...в

⁵ Лесков А. Там же, с. 192.

⁶ Лесков А. Там же, с. 197.

литературе последовал великий раскол: из одного лагеря, с одним общим направлением к добру, образовались две партии: «постепеновцев» и «нетерпеливцев»... Я тогда остался с «постепеновцами», умеренность которых мне казалась более надежной»⁷. В целом, отвергая любое действие, ведущее к насильственному переустройству русского мира, Лесков четко обозначал себя поборником деятельного, позитивного начала, в частности – активной торгово-промышленной деятельности, всего, что открывало дорогу буржуазного развития страны.

Вот как пишет по этому поводу один из современных серьезных исследователей его творчества Л.А. Аннинский: ««Направление» Лескова – это «направление» широкого демократизма; это позиция человека, безусловно принимающего и поддерживающего реформы, человека безусловно прогрессивных взглядов, человека, безусловно враждебного охранительству, ретроградности и бюрократическому застою русской жизни. Лесков вышел из разночинства, он рано сознал себя как просветитель, «конституционалист» и сторонник реального раскрепощения народа; он в этих убеждениях был тверд и никогда им не изменил. При этом учтем и то, что, в отличие, скажем, от Достоевского с его общечеловеческими безднами и Толстого с его нравственным максимализмом, Лесков в вопросах реальной политики – человек здравого смысла и практически трезвого взгляда на вещи. Именно поэтому он – ««постепеновец» и «реформист», противник крайних радикалов и изобличитель бунтарских элементов в общественном движении. Он боится практического срыва, боится реальной реакции, боится ответной крайности – и все его знание России, весь его жизненный опыт, вся выношенная за тридцать лет установка на практический результат, а не на «отвлеченную философию», - все это вполне объясняет его «направление»»⁸.

Позиция «постепеновца», само собой, была неприемлемой для писателей и критиков революционно-демократической ориентации, о чем без обиняков

⁷ Лесков Н. «Воспоминания о П. Якушкине». В кн.: «Сочинения Павла Якушкина». 1884, СПб, с. L.

⁸ См. цит. ст. Л.А. Аннинского «Катастрофа в начале пути», с. 680.

заявлял, например, Д. Писарев: «На таких джентельменов, как гг. Писемский, Ключников и Стебницкий (Тогдашний псевдоним Н. Лескова. – С.Н.), все здравомыслящие люди смотрят как на людей отпетых. С ними не рассуждают о направлениях; их обходят с тою осторожностью, с какою благоразумный путник обходит очень топкое болото»⁹.

Говоря о начальном периоде творчества Лескова, обязательно нужно сказать и о времени, в которое он начал писать. Отмена крепостного права, произведенная «сверху» правительством-«европейцем», дарованные свободы и реформы далеко не всеми оценивались как благо, да и безусловным благом не были. Значительные социальные слои, в том числе и среди земледельческого сословия, вовсе не считали сделанное делом добрым и полезным. Малоземельное крестьянство, получив не столько землю, сколько возможность ее выкупа и перспективу стать собственником, в лице значительного числа «слабосильных» членов общины без «забот» прежнего хозяина-помещика почувствовало себя еще хуже. (В этой связи вспомним трезвое указание Чернышевского – Волгина в романе «Пролог» об административной ответственности значительной части помещиков за своих крестьян при крепостном праве и, главное, привычке последних к этому положению). Большая часть помещиков, жившая за счет неэффективного труда крестьянина, так же не видела способов продления своей беззаботной жизни, хотя и сохраняла возможность жить по-старому в довольно длительный, хотя и обозримый период. «Новых» же людей, соответствующих «новому времени» свободы и потому без оговорок приветствовавших его, в стране было мало, а, возможно, не было и вовсе.

Вот как по его собственному определению «на старости лет» Лесков отзывался о времени, когда революционные демократы ждали появления в стране «новых людей» и самозабвенно о них писали: «Хотел бы я воскресить Чернышевского и Елисеева: что бы они теперь писали о «новых людях»?.. Если исправничий писец мог один перепороть толпу беглых у меня с барок

⁹ Писарев Д.И. Сочинения в четырех томах. М., Гослитиздат, 1956. Т., 3, с. 260.

крестьян, при их же собственном содействии, то куда идти с таким народом? «Некуда»!.. Рахметов Чернышевского это должен был бы знать!.. Ведь с этим зверьем разве можно что-нибудь создать в данный момент?

- Однако у вас, Николай Семенович, никакого просвета не видно.

...Я же чем виноват, если действительность такова!.. Удивительно, как это Чернышевский не догадывался, что после торжества идей Рахметова русский народ, на другой же день, выберет себе самого свирепого квартального... Идеи, которые некому и негде осуществлять, скверные идеи!.. А романом «Некуда» я горжусь...»¹⁰

Тем не менее, вектор дальнейшего исторического развития России мыслящими людьми был обозначен и встал вопрос: каков должен быть человек «нового времени» и из какого «человеческого материала» он будет создан? Иными словами, тема «нового времени и нового человека», наряду с уже рассмотренной во втором томе исследования в связи с проблемой «позитивного дела», сделалась одной из центральных для философствующей русской классики 40-х – 60-х годов XIX столетия. Векторы поиска, однако, были разнонаправленны.

Так, например, в творчестве Ф.М. Достоевского поиски ответа на эти вопросы шли вглубь человеческого естества, в «природу человека», как бы мы сказали сегодня. В произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина основное внимание было уделено технологиям создания и функционирования общества и уж затем – человеческому существу. Своим путем шел и Лесков. По крайней мере, в ранней прозе 60-х годов познавательные интенции его литературного философствования четко ориентированы на довольно искусственное, но, вместе с тем, вполне реальное общественное явление – заботу «новых людей» русской (отчасти разночинной, отчасти аристократической) интеллигенции привить «новой жизни» новые идеи, образцы мировидения, образцы поведения и жизни.

¹⁰ Цит. по ст. Л.А. Аннинского, с. 690.

Однако в какой мере эти попытки имели место в реальности, а насколько были плодом художественных фантазий, вопрос далеко не праздный. Именно об этом – инициирования появления реального общественного явления посредством его изначального создания в пространстве художественного произведения – Лесков говорит в примечательной статье, посвященной роману Н.Г. Чернышевского «Что делать?»¹¹.

Избранная Чернышевским методология была противоположна методологии «натуральной школы». Перед художественным произведением не ставилась задача максимально беспристрастно, объективно отражать действительность. Напротив, действительности предлагалось видеть в художественном произведении образец для собственного преобразования. То есть, мысли, фантазии художника предполагалось выступить в форме образца, модели, порой даже тщательно проработанного примера, в соответствии с которым жизни предписывалось измениться. Именно по этой причине, отвергая саму возможность рассмотрения этого «романа» как произведения художественного, Лесков предрекает его недолгую жизнь: «в будущем он не проживет долго».

Что же побудило Чернышевского взяться за создание столь экзотического продукта? На этот вопрос Лесков дает прямой ответ: «На изготовление романа его вызвали обстоятельства, от него не зависящие: потребность деятельности и невозможность ее в другой форме»¹². Ответ этот, достоверность которого, учитывая абсолютную непредвзятость и столь же абсолютную пронизательность Лескова как мыслителя, я оцениваю очень высоко. Но анализируя этот ответ, правомерно задать вопрос: есть ли объективная общественная и экономическая потребность (если не условия) в деятельности такого рода? Ведь цель деятельности такого рода (революционизаторской в своей основе) предполагает не безделицу, а смену или, по крайней мере, потрясение основ общественного уклада? Более того.

¹¹ Лесков Н.С. Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?». В кн.: Библиотека русской критики. Критика 60-х годов XIX века. М., Астрель, 2003.

¹² Там же, с. 213.

Только что прошедшее в стране освобождение от крепостного права десятков миллионов и, по крайней мере, лишение еще нескольких миллионов привычного способа существования, создали определенный вакуум в привычном укоренении прошлого социально-экономического уклада. Ведь в нем, как очевидно, не произошло естественное вызревание радикальной перемены – освобождения. Освобождение было привнесено в уклад «сверху» и, значит, социально-экономическая система к этому явлению еще не адаптировалась. И теперь, вместо этой естественной адаптации, ей (социально-экономической системе) вновь предлагается чуждая ей, не вызревшая в ней самой перемена, связанная, как минимум, с искусственным созданием новых субъектов экономической деятельности, носителей новой идеологии, отрицающих идеологию прежнюю. Так что же это за такая, обуревающая Чернышевского и ему подобных революционных демократов «потребность деятельности»? Откуда она берется, на чем основывается? Похоже, что «конечная точка», из которой эта потребность произрастала, было всего лишь идеологическое состояние умов, революционная нетерпеливость такого рода деятелей. Это, я думаю, четко понимал Лесков и именно за это его понимание, обнаруживающее авантюризм и социальную безответственность революционных деятелей, они его и возненавидели.

Раскрыв причины, побудившие Чернышевского взяться за создание своего программного произведения, Лесков, далее, прибегает к его философско-литературному анализу. И в том, как этот анализ осуществляется, и, тем более, в том, какие выводы на его основе делаются, явственно обнаруживается правомерность и продуктивность подхода к русской классической литературе как к особой форме философствования, как к специфической системе непрерывно развивающихся смыслов и ценностей, образующих, постоянно порождающих то, что мы именуем русским мировоззрением. Для лучшего понимания того, как Лесков выполняет философско-методологический анализ ряда существенных мировоззренческих явлений русской классики середины XIX век, следует

прибегнуть к подробному рассмотрению его статьи о романе Чернышевского.

«Была, - начинает Лесков, - (и это очень недавно) на Руси ужасная эпоха фразерства, страшного, разъедающего и все импонирующего фразерства. Тургеневский Рудин – сын этой эпохи и ее памятник. Началась другая эпоха. Пошел запрос на Инсаровых. Инсаровых оказалось очень мало. Потому как инсаровское дело нам непривычное. Явились Базаровы. Тургенев переживал эти метаморфозы и, стоя с мастерской кистью в руке, срисовал их в свой прелестный альбом. Все они стоят перед нашими глазами, от слабовольного, нравственного импотента Рудина до сильного и честного Базарова. Тип Базарова многим нравится, многим не нравится. Мне лично он нравится, но я бы позволил себе пожелать ему быть несколько мягче, не мусолить собою без нужды непривычного глаза, не раздражать без дела чужой барабанной перепонки и даже, пожалуй, не замыкать сердца для чувств самых нежных, ибо они не мешают героизму.

Уроды Рудины, после предания этого типа посмеянию, шатались без дела. Неспособность к самостоятельному труду, неспособность «слепую бабу кормить» была в них очень уж ярка.

...Талантливым пером Тургенева обрисован Базаров, произнесено слово «нигилизм», и завелись, или стали разводиться, думаете, *нигилисты*? Нет, стали разводиться, или, лучше сказать, никто не стал разводиться, а рудинствующие импотенты стали импотентами базарствующими.

...*Нигилисты*, которых мы видим и которые нам успели надоесть своими гадостями, достались нам по наследству, а сгруппировал их и дал им пароль и лозунг... Иван Сергеевич Тургенев. После его «Отцов и детей» стали надюжаться эти уродцы российской цивилизации. Начитавшись Базарова, они сошлись и сказали: «Мы сила». Что ж нам делать теперь? Так как они никогда не думали о том, *что им делать*, то, разумеется, сделали то, что делают обезьяны, то есть стали копировать Базарова. Как же его копировать? Ну, обыкновенный прием карикатуристов в ход. Взял самую

резкую черту оригинала, увеличил ее так, чтобы она в глаз била, вот и карикатурное сходство. То и сделано. Базаровских знаний, базаровской воли, характера и силы негде взять, ну копируй его в резкости ответов, и чтоб это было позаметнее – доведи это до крайности. Гадкий нигилизм весь выразился в пошлом отрицании всего, в дерзости и в невежестве. Отрицание это будто бы и есть самый нигилизм, а дерзость и невежество его последствия. Дерзость и невежество нигилистствующих Рудиных не имеют пределов и доходят до злобы.

...У людей этого разбора сострадание не в нравах. Посадите такого господина на какое хотите место, он сейчас и пойдет умудряться, как бы ему побольнее съехать *не своего*. ...Велите ему двух сотрудников рассчитать: нигилисту даст деньги, а не нигилиста десять дней проводит. ...Что ему до того, что у этого сотрудника жена без башмаков, дети чаю не пили, хозяин с квартиры гонит? Квартира *отрицается*, потому фаланстерия будет; жена *отрицается*, потому что в «естественной» жизни (у животных, например) нет жен; дети и подавно *отрицаются*, их община будет воспитывать; родители им не нужны.

...Жалеть никого не следует, потому что

Век жертв очистительных просит.

Помогать – нечего рваться, потому что «чему уцелеть, то останется». Чувства – вздор, любовь – вздор, совесть – вздор, идеи – вздор, все вздор, не вздор только *мы*, ибо *мы* есмь *мы*. Это еще старые типы, обернувшиеся только другой стороной. Это Ноздревы, изменившие одно ругательное слово на другое.

...Такова в большинстве грубая, ошалелая и грязная в душе толпа пустых ничтожных людишек, исказивших здоровый тип Базарова и опрофанировавших идеи нигилизма»¹³.

Такова, по мнению Лескова, реальность. Как же соотносится с ней своим романом Чернышевский? А никак не соотносится. В нем, в отличие от

¹³ Там же, сс. 214 – 217.

прежде высказываемых «отрицаний» и «антипатий», автор сообщает о своих симпатиях. В романе он «вывел людей, которые трудятся до пота, но не из одного желания личного прибытка. Они вовсе свободны от всеобщего эписиерства (торгашества, узости. – С.Н.). Напротив, начав дело, так сказать, ни с чего, они тотчас вводят во все его выгоды всех мизераблей-работников и сами остаются хозяевами-распорядителями. Отсюда, по выводу автора, вытекает все хорошее для работающих; дело идет честно, в рабочей семье поселяется взаимное доверие, совет да любовь. Удовольствия и все блага жизни каждому члену рабочей артели достаются очень дешево, никто не изнурен, не «лишний на пиру жизни». Никто ни к чему не принуждается. Напротив, коноводы дела люди очень мягкие, с которыми каждому легко, которые никого не обрывают, а терпеливо идут к своей предложенной цели, заботясь прежде всего о водворении в общине самой широкой честности, свободы отношений и взаимного доверия»¹⁴. Через представление об этих людях и их деле читатель и получает ответ на вопрос, «что делать желает г. Чернышевский».

Такие люди, говорит Лесков, очень нравятся и ему самому. Вот только в действительности он таких людей не встречал. «...Они в натуре не ведут дел так счастливо, проваливаются, даже бывают посмешищем для экономических весельчаков». «Новые люди» Чернышевского, по мнению Лескова – просто «хорошие люди». И делать свое хорошее дело они могут в любом «благоустроенном государстве от Кореи до Лиссабона. Нужно только для этого *добрых людей*, каких вывел г. Чернышевский, а их, признаться сказать, очень мало»¹⁵.

Привести столь значительные выдержки из статьи Лескова о романе Чернышевского понадобилось для того, чтобы отметить две вещи. Первая: в диктуемом временем поиске ответа на вопрос «Как возможно в России позитивное дело» в отличие от попыток Тургенева, Гончарова и Толстого в

¹⁴ Там же, с. 219.

¹⁵ Там же, с. 222.

этот же период – 40-х – 60-х годов – в русской философствующей литературе намечается новое направление. Его смысл – не поиск в реальности субъектов позитивного действия, анализ процесса их становления и дальнейшей возможности деятельности в условиях России, а их, этих субъектов, выдумывание, их создание посредством фантазии художника, питающейся, кроме прочего, и социалистическими утопиями.

Конечно, в жизни бывали случаи, когда утопии обретали реальное существование. В конце концов, и сама отмена крепостного права есть материализованная утопия, под которую началось преобразование реальной России. И вот в этом-то случае (вторая причина обращения к статье Лескова) это явление заслуживало подробного рассмотрения.

Это-то – анализ философско-нравственного содержания модели, под которую предполагается изменять действительную жизнь и, более того, по матрице которой предлагается «наладить производство» «новых людей», именно такой анализ и стал осуществлять начинающий писатель Н.С. Лесков. Иными словами, анализ попыток «новых людей» привить реальной русской жизни новые идеи, образцы мировидения и образы жизни становится его главным занятием в ранних произведениях, среди которых рассказы «Овцебык» (1862) и «Котин доилец и Платонида» (1867), повесть «История одной бабы» (1863), очерк «Леди Макбет Мценского уезда» (1864) и роман «Некуда» (1864), на которых я и останавлиюсь.

* * *

В центре рассказа «Овцебык» (1862) – судьба странного человека, своим характером, поведением и устремлениями напоминающего одновременно не только «лишних людей» русской классической литературы, но и начавших появляться в романной прозе Тургенева героев, ставящих перед собой цели, намного превосходящие их силы и возможности, и потому недостижимые.

Василий Петрович Богословский, именуемый «Овцебык» и определяемый в советском литературоведении как «разночинец-революционер», уже прозвищем подтверждает свою принципиальную

несовместимость с российским миром. Он и в самом деле даже внешностью производит впечатление чего-то искусственного, какого-то мутанта, в силу своих взглядов на жизнь и характера не имеющего возможности закрепиться в обществе, тем более, завести семью и оставить после себя потомство¹⁶. Он и живет не как все – большею частью в природе, в дороге, снимаясь со своего временного, мало-мальски обустроенного места по первому душевному порыву. Причем поводом к уходу может быть все что угодно, в том числе - абсолютное и категорическое следование собственному нравственному уставу. Так, автор сообщает нам об уходе из помещичьей семьи, когда «Овцебык» не соглашаясь равнодушно наблюдать бесстыдные домогательства избалованного хозяйского дитяти, преследующего замужнюю дворовую девушку, дает ему оплеуху и тут же, как есть, не заходя в свою комнату, покидающего имение. Вот как он сам сообщает об этом случае: «...Зло меня такое взяло, что я вошел в сени, да и дал ему затрещину.

- Таковую, что у него из уха и из носа кровь хлынула, - засмеявшись, подсказал Челновский.

- Какая там на его долю выросла.

- Что же вам мать?

- Да я ее после не глядел. Я из людской прямо в Курск пошел.

- Сколько же это верст?

- Сто семьдесят; да хоть бы и тысяча семьсот, так это все равно.

Если бы вы видели в эту минуту Овцебыка, то не усомнились бы, что ему в самом деле *все равно*, сколько верст не пройти и кому ни дать затрещину, если, по его соображениям, затрещину эту дать следует»¹⁷.

Овцебык – не идеолог-болтун, а идеолог-просветитель, а в перспективе – и идеолог-конструктор, желающий насаждать в мире истину, по-своему устраивать жизнь и стремящийся обрести последователей. Отсюда – его попытки искать собеседников и возможных товарищей среди староверов,

¹⁶ Искусственно выведенные мутанты, как, например, потомок лошади и осла – лошак, сами наследства не оставляют.

¹⁷ Лесков Н.С. Цит. соч., т. 1, с. 42.

простых мужиков-крестьян, работников. Его поиски – последовательная цепь разочарований. Вот вывод о раскольниках и крестьянах:

«- ...Я сам себя обманул. Я думал найти там город, а нашел лукошко.

- Раскольники не допустили вас до своих тайн?

- До чего допускать-то? – с негодованием вскрикнул Овцебык. – Только ведь за секретом все и дело. Понимаете, этого-то слова-то «Сезам, отворись», что в сказке говорится, его-то и нет! Я знаю все их тайны, и все они презрения одного стоят. Сойдутся, думаешь, думу великую зарешат, ан черт знает что – «благая честь да благая вера». В вере благой они останутся, а в чести благой тот, кто в чести сидит. Забобоны да буквоедство, лестовки из ремня да плетъ бы ременную подлиннее. Не их ты креста, так и дела до тебя нет. А их, так нет, чтоб тебе подняться дали, а в богадельню ступай, коли стар или слаб, и живи при милости на кухне. А молод – в батраки иди. Хозяин будет смотреть, чтоб ты не баловался. На белом свете тюрьму увидишь. Все еще соболезнуют, индюки проклятые: «Страху мало. Страх, говорят, исчезает». А мы на них надежды, мы на них упования возверзаем!.. Байбаки дурацкие, только морочат своим секретничаньем.

Василий Петрович с негодованием плюнул.

- Так, стало быть, наш здешний простой мужик лучше?

Василий Петрович задумался, потом еще плюнул и спокойным голосом отвечал:

- Не в пример лучше.

- Чем же особенно?

- Тем, что не знает, чего желает»¹⁸.

Так же не получается у него просвещать и найти сподвижников среди монахов и богомольцев. Из монастыря его изгоняют, ничего не выходит и из его общения с крестьянами. Впрочем, в этом он не одинок. Тут же терпят неуспех и местные немцы, которые пытаются «вводить культурные порядки с полудикими людьми. «Обезьяну, - говорил он, (Овцебык о немцах. – С.Н.) -

¹⁸ Там же, сс. 76 – 77.

сейчас сделает, и немец действительно, как нарочно, ошибался в расчете и делал обезьяну»¹⁹.

Одна из причин неудач Овцебыка состоит в том, что он, как его определил местный взявшийся ему покровительствовать деловой человек, «ни барин, ни крестьянин, да и ни на что никуда не годящийся». Вскоре, впрочем, это начинает понимать и сам Овцебык. В своем письме рассказчику он сообщает: «Делать мне здесь нечего, и я одним себя утешаю, что нигде, видно, нечего делать опричь того, что все делают: родителей поминают, да свои брюхи набивают». И далее: «Разрешил я себе «Русь, куда стремишься ты?», и вы не бойтесь: я отсюда не пойду. Некуда идти»²⁰.

Так, уже в одном из первых рассказов Лескова появляется столь многозначное и многозначительное для всего его раннего творчества корневое слово – «некуда». Не может перемахнуть через это слово Овцебык – с помощью ременного пояса сводит счеты с жизнью. Об это слово споткнутся и так же канут в никуда другие герои лесковской прозы.

Обращение к «тайнам души» русского человека, ставшее одной из магистральных линий лесковского творчества, обнаруживается и в его раннем тексте «Язвительный. Рассказ чиновника особых поручений». Повествование начинается с кажется малозначимой детали, по отношению к которой не сразу можно сказать – какое отношение она имеет к дальнейшему сюжету, зачем она. Деталь эта – особая комната при канцелярии, сделанная как особое место для курения – современным языком «курилка». В ней собираются чтобы «поболтать, посплетничать, посмеяться, посовеститься». Упомянутый косвенно рассказ одного из ее посетителей своей «моралью» имел убеждение рассказчика, «что в нашей административной организации обнаружить зло – значит сделать шаг к его искоренению». Вот это-то наивное убеждение вкупе с реально созданным элементом порядка –

¹⁹ Там же, с. 81.

²⁰ Там же, с. 85.

курилкой и становится проверочной конструкцией для последующего изложения.

Сам же рассказ - о том, как в одно из имений пребывающего за границей некоего князя направляется новый управляющий – проживший семь лет в России и прекрасно говорящий по-русски англичанин Стюарт Яковлевич Ден. Он готов к неустанному труду и уверен, что этим, а также неукоснительным следованием избранной системе можно все преодолеть.

Через некоторое время повествователя - чиновника особых поручений требует к себе губернатор, получивший от мужиков жалобу на нового управителя. В чем же дело? Счет? Нет. Ведет какие-нибудь свои личные делишки или равнодушен к «красненьким повязочкам»? Нет. Что же?

«- А как тебе сказать... очень хорош, - похуже надо, вот и жалобы. Не по нутру мужикам.

- Да отчего не по нутру-то?

- Порядки спрашивает, порядки, а мы того терпеть не любим.

- Работой, что ли, отягощает? - все добиваюсь я у Рукавишникова.

- Ну какое отягощение! Вдвое против прежнего им теперь легче...»²¹

По мере дальнейших расспросов выясняется, что Ден задумал строить винокурный завод, чтоб не пропадали хлебные излишки и был дополнительный корм для скотины. Вот только отказался от услуг заезжих строителей, заломивших втридорога и решил поручить работу своим мужикам, для чего отменил их ежегодный поход в соседнюю Украину на заработки. Да заработков, как выясняется, у них там и не было. А была разгульная жизнь, после которой некоторые семейства рисковали остаться с проваленными носами. Здесь же, на строительстве завода, он обещал денег несравненно больше.

Недовольство мужиков вылилось в «неожиданный» бунт и поджог завода, мастерских, мельницы, прачечной и дома князя. Самого Стюарта Яковлевича сильно побили и прогнали. Приехавший в деревню

²¹ Там же, с. 17.

повествователь, доискиваясь причин, узнает, что одного из предполагаемых злоумышленников Ден сильно обидел тем, что не отпустил-таки на Украину и в наказание за самовольную отлучку сажал в кресло на рабочем дворе и велел ничего не делать. «Ребята, значит, работают, а я чтоб ...перед всем миром сложимши руки сидел. Просил топора, что давайте рубить буду. «Нет, говорит, так сиди». А кроме того, для пущего наказания привязывал провинившегося к специально вбитому в кресло гвоздику ниткой «как воробья».

Чиновник особых поручений, собравший для разговора мужиков, сообщает им княжескую волю: князь прощает им содеянное и не дает делу хода. Не будет ни следствия, ни плетей, ни экзекуции, ни каторжной работы. Но и крестьяне должны просить прощения у управляющего и жить по-прежнему. Мужики просить прощения согласились, но принять управителя обратно и жить с ним по-старому отказались категорически.

«- Да отчего нельзя-то?

- Он язвительный».

А коль так, то в село приехали следователи и судейские, троих крестьян сослали в каторгу, а с десятков в арестантские роты. Причина твердого отказа крестьян кроме как словом «язвительный» не объясняется никак. И, думаю, это потому, что за такого рода поведением стоит большое и сложное явление. Разбираться в его природе придется многократно и в разных подходах. Один из которых, раскрывающий только небольшую часть этого феномена, заключается в следующем рассуждении из другого рассказа Лескова.

«Скажи ты мне, - говорила она, - что это такое значит: знаю ведь я, что наши орловцы первые на всем свете воры и мошенники; ну, а все какой ты ни будь шельма из своего места, будь ты хуже турке Испулатки лупоглазого, а я его не брошу и ни на какого самого честного из другой губернии променять не согласна?

Я ей на это отвечать не умел. Только, бывало, оба удивляемся:

- Отчего это в самом деле?»²²

* * *

Уже в первых сочинениях Лесков обнаруживает свое стремление к исследованию среди «новых» людей не только характеров незаурядных, но и пребывающих в пограничных состояниях, в которых они во всей полноте обнаруживают глубинные, определяющие их жизнь, идеи и чувства. В этом он, как видим, следует в свойственной русской классике традиции «гоголевской школы», в том числе сосредотачивающей внимание на магистральных для нее, обозначенных ранее темах – «ума и сердца», «живого и мертвого», «природы и дома».

Вместе с тем, в некоторых отношениях Лесков даже предугадывает ее, русской классики, будущий интерес к темам, имеющим отношение к пониманию природы человека. Это случилось, например, с темой «любви – страсти». На мой взгляд, написанный существенно позднее Львом Толстым роман «Анна Каренина» (1878), о котором речь впереди, как исследование любви в крайней форме ее существования, было продолжением начатого Лесковым рассмотрения этого феномена в повести «Житие одной бабы» (1863) и, в особенности, в очерке «Леди Макбет Мценского уезда» (1864). Однако лесковскому социально-нравственному анализу, в отличие от преимущественно психологического анализа Льва Толстого, был свойственен иной ракурс, ориентация не столько на внутреннее, сколько на внешнее - на обстоятельства, в силу которых то или иное явление делается возможным.

Если взглянуть на раннее творчество Лескова с точки зрения предпринимаемого исследования смыслов и ценностей русского мировоззрения в его повороте к «новому» человеку, то нужно отметить следующее. Автор «Овцебыка» впервые в русской классике большое внимание уделяет той практике, тому жизненному контексту, из которого это мировоззрение произрастает. Он пока еще не заботится выведением и

²² Там же, с. 152.

формулированием тех ценностей и идей, которые кажутся ему определяющими для русского мировоззрения. Главное внимание автор «Некуда» сосредотачивает на описании и понимании той жизни, которую ведут его герои, русские крестьяне, прежде всего. И, отмечу еще раз, знает он эту жизнь и умеет сообщить о ней так, как никто другой до него.

Идея повести «Житие одной бабы» в своей наиболее общей формулировке звучит достаточно крамольно не только по отношению к социальному устройству сельской России 60-х годов XIX столетия, но и в отношении идеи приверженности русского народа православию, во всяком случае – к его практическому воплощению. Героиня повести – сперва девочка, потом девушка и женщина Настя – живое воплощение христианского способа жизни. Она всех любит, от всех безмолвно терпит, не жалея себя трудится, не задумываясь, жертвует собой. И она же – самое несчастное создание в деревне и в родной семье. Случается так, что желая поправить свои финансовые делишки, ее брат Костик выдает Настю за уродливого и придурковатого Григория – сына своего состоятельного по деревенским меркам «компаньона». Не имея возможности противиться, Настя принимает «крест», но отныне живет как «полумертвая». Когда же придурок-муж на год застревает на заработках на Украине, прижившись у дворничихи в Харькове, Настя поддается любовному влечению и уступает ухаживаньям действительно полюбившего ее и так же страдающего в несчастливом браке Степана.

В момент возвращения Григория, Настя, как и Овцебык, в то же мгновение, в чем ее застало событие, оставляет дом и бежит со Степаном. Будучи схвачены, они отправляются под конвоем к своим домам, но по дороге Степан умирает от тифа, а Настя лишается рассудка. В родной деревне она отказывается жить в доме и все бродит по полям и лесам в поисках возлюбленного. При этом, принимая за Степана каждого встречного мужчину, она этими «добрыми людьми» беззастенчиво используется как любовница, чем мужики затем прилюдно бахвалятся.

Среди немногих светлых героев повести одна из наиболее подробно представленных – фигура бывшего купца, а ныне лекаря, старичка Крылушкина. Своими заботой, вниманием и любовью он возвращает Настю к жизни, хотя «добрые люди» и в этот раз, теперь уже «с простоты», не преминули рассказать ей, чем она занималась в безумии и в доказательство «назвали Сидора, Петра, Ивана», причем сделали это так, что она перестала сомневаться.

Но окончательный удар по судьбе Насти наносит не деревенский мир, а российское государство, в лице своих чиновников вздумавшее прекратить целительскую практику Крылушкина и отправившее незаконно пребывающую у него Настю в сумасшедший дом, после которого она уже не оправилась и однажды в своих возобновленных скитаниях в поисках Степана замерзла в лесу.

В описании природных картин и обстоятельств крестьянской жизни Лесков безжалостно («фотографически», как позднее говорил он сам) объективен. В его прозе нет брошенного «со стороны» путешествующего барина-охотника взгляда на крестьянский мир, какой мы замечаем у Тургенева. Вспомним, что о Хоре мы знаем лишь по его успешной усадьбе, а о Бирюке – по его беззаветному служению хозяину. Не знаем мы, какой ценой Хорь «держит» в повиновении своих домашних и чем Бирюк кормит свою малолетнюю дочку, живя в пустом доме. До жизни «крестьянского низа», этого, как показывает Лесков, ада на земле, не доходят и герои Гончарова, тем более, если события разворачиваются среди двора в «благословенной» Обломовке. В ней люди страдают от лени и обжорства, а не от тяжкого труда и голода.

Конечно, и Тургенев, и Гончаров многое знают о крестьянской жизни и сообщают об этом своим читателям. Только у них эта жизнь, жизнь деревенского низа, не только не делается, как у Лескова, центром исследования, но затрагивается лишь как бы по ходу дела, поверхностно. У

Лескова же это именно центр и то, какой крестьянская жизнь предстает перед нами, приводит в ужас.

В этой связи, может быть одно из самых жутких мест повести – смерть ребенка Насти, случившаяся в остроге. «...Ребенок был такой маленький и худенький. Еще в материнской утробе он заморился, и там ему было плохо; там он делил с матерью ее горе и муки. Теперь он лежал твердый, замерзший. На нем уже была надета рубашечка, которую ему сшили и прислали Настины подруги, арестантки бродяжного отделения. А личико у него было синее, сдвинутое в горькую гримасу, с каким-то старческим выражением невыносимой муки. Точно он, взглянув на что-то ужасное, почувствовал ужасную боль, сморщился от этой боли и умер, унося с собой в могилу знак оттиснутой на нем земной муки»²³.

В некоторых местах повествования Лесков возвышает авторский голос до обличительной публицистики. Так, он сообщает о своеобразном национальном, хотя и географически ограниченном в его повествовании русском явлении-забаве под названием «порка детей». «У нас от самого Бобова до Липихина матери одна перед другой хвалились, кто своих детей хладнокровнее сечет, и сечь на сон грядущий считалось высоким педагогическим приемом. Ребенок должен был прочесть свои вечерние молитвы, потом его раздевали, клали в кроватку и там секли. Потом один жидомор помещик, Андреем Михайловичем его звали, выдумал еще такую моду, чтобы сечь детей в кулке. Это так делал он с своими детьми: поднимет ребенку рубашечку на голову, завяжет над головою подольчик и пустит ребенка, а сам сечет, не державши, вдогонку. Это многим нравилось, и многие до сих пор так секут своих детей. Прощение только допускалось в незначительных случаях, и то ребенок, приговоренный отцом или матерью к телесному наказанию розгами без счета, должен был валяться в ногах, просить пощады, а потом нюхать розгу и при всех ее целовать. Дети маленького возраста обыкновенно не соглашаются целовать розги, а только с

²³ Там же, с. 367.

летами и с образованием входят в сознание необходимости лобызать прутья, припасенные на их тело. Маша была еще мала; чувство у нее преобладало над расчетом, и ее высекли, и она долго за полночь все жалостно всхлипывала во сне и, судорожно вздрагивая, жалась к стенке своей кровати.

Беда у нас родиться смирным да сиротливым - замнут, затрут тебя, и жизни не увидишь. Беда и тому, кому бог дает прямую душу да горячее сердце нетерпеливое: станут такого колотить сызмальства и доколотят до гробовой доски. Прослывешь у них грубияном да сварою, и пойдет тебе такая жизнь, что не раз, не два и не десять раз взмолишься молитвою Иова многострадательного: прибери, мол, только, господи, с этого света белого! Семья семьею, а мир крещеный миром, не дойдут, так доедут; не изоймут мытьем, так возьмут катаньем»²⁴.

И еще: «Сызмальства у нас к этой скверности приучаются и в мужичьем быту и в дворянском. Один у другого словно перенимает. Мужик говорит: "За битого двух небитых дают", "не бить - добра не видать", - и колотит кулачьями; а в дворянских хоромах говорят: "Учи, пока впоперек лавки укладывается, а как вдоль станет ложиться, - не выучишь", и порют розгами. Ну, и там бьют и там бьют. Зато и там и там одинаково дети, вдоль лавок под святыми протягиваются. Солидарность есть не малая.

Эх, Русь моя, Русь родимая! Долго ж тебе еще валандаться с твоей грязью да с нечистью? Не пора ли очнуться, оправиться? Не пора ли разжать кулак, да за ум взяться? Схаменися, моя родимая, многохвальная! Полно дурачиться, полно друг дружке отирать слезы кулаком да палкой. Полно друг дружку забивать да заколачивать! Нехай плачет, кому плачется. Поплачь ты и сама над своими кулаками: поплачь, родная, тебе есть над

²⁴ Там же, с. 297. Такого рода наблюдениями и обобщениями пересыпана проза Лескова, что в конце концов делает вполне естественным наше согласие с его оценкой крестьян как людей «полудиких».

чем поплакать! Авось отлегнет от твоей груди, суровой, недружливой, авось полегчает твоему сердцу, как прошибет тебя святая слеза покаянная!»²⁵

Анализ пограничных ситуаций, в которых человек оказывается по своей воле или воле обстоятельств, Лесков продолжает в очерке «Леди Макбет Мценского уезда». Эта, на первый взгляд выпадающая из тематического строя произведений раннего периода лесковского творчества вещь, тем не менее, обозначает собой еще одну нащупываемую писателем границу поведения человека в мире. И если в «Овцебыке» это граница одержимости человека идеей, а в «Истории одной бабы» - граница мучительства человека человеком, то в очерке о Катерине Львовне Измайловой это граница любовной страсти. И за каждой из трех границ искателя, отважившегося ступить на этот путь, ожидает один и тот же результат-ответ: дальше в этой жизни идти некуда. Катерина Львовна и Овцебык кончают с собой, в бесплодных поисках гибнет Настя.

Возвращаясь к принципиальной теме данной книги исследования – теме «нового» человека, нужно отметить, что «новыми» людьми в прозе Лескова люди становятся не благодаря фантазиям и мечтаниям автора, а потому, что они оказываются в новых для себя ситуациях или по-новому ведут себя в тех обстоятельствах, которые уже бывали в жизни прежде, но в которых «по-новому» еще не вел себя никто.

Жестокость жизни, создаваемой полудикими и, кажется, лишь о себе заботящимися людьми, не оставляет никакой надежды на лучшее. Но человеческий ум не смиряется и вот в отдельных головах возникает проект переустройства жизни на принципиально иных, чем до того было принято, началах, а некоторые – неизвестно почему и каким образом – находят в себе силы организовать на новых началах новую для себя жизнь.

В этой связи удивителен ранний рассказ Лескова «Котин доилец и Платонида». Из раскольничьей с суровыми нравами семьи изгоняется девушка, посмевавшая послушаться слова своего дяди и решившая жить с

²⁵ Там же, сс. 284 – 285.

молодым пономарем. По прошествии некоторого времени девушка рождает сына, а пономарь гибнет. Не имея никакого жилья и средств к существованию, девушка идет в женский монастырь, а ребенка, мальчика, дабы ему было разрешено остаться с матерью, выдает за девочку. Так Константин Пизонский до двенадцати лет считался окружающими, да и сам себя числил девочкой, а затем мать, выведя его из монастыря, отдала в духовное приходское училище. В училище жизнь парнишки не заладилась: он часто по ошибке говорил о себе как о девочке, его травили товарищи, а учителя решив, что способностей у ребенка нет, усугубили положение придирками и побоями. После училища Константина отдали в армию и три года он был дьячком в полковой церкви, а затем по ходатайству больной матери отпущен домой. Мать вскоре умерла и Пизонский оказался один и без крыши над головой. Разыскивая дальнюю родню, у побирушки-нищенки он находит двух девочек – дальних родственниц (пяти лет и двух годов), у которых также никого нет. Вот как произошла эта встреча и было принято решение: «Посмотрев на детей, он сел около них на травку и обнял их обеими руками.

- Голубятки! – заговорил он, - плохо вам тут у бабушки?

Дети пугливо прижались одна к другой, сначала долго друг на друга смотрели и потом разом тихо заплакали.

Пизонский опустил в карман руку и, достав оттуда немного смятую печеную луковицу, обдул прилипшие к ней крошки хлеба, разломил ее ногтями и подал сироткам. ...

- Бьет вас бабушка, детки? – начал прямо Пизонский, поглаживая девочек по головкам.

- Бот, - прошептали тихо дети.

- И больно?

- Боно, - проронили они еще тише и робче и, смаргивая слезы, напряженно смотрели с раздирающей детской тоскою на ту же глупо блестящую пуговицу.

Пизонский развздыхался. Дробные слезы ребячьи непереносимы. Необъятная любовь и нежность овладели сердцем Пизонского в виду этих слез. Он готов был все сделать, чтобы отереть эти слезы; но что мог для кого-нибудь сделать он – нищий, калека и урод, когда сотни людей, представляя себе его собственное положение, наверное почитают его самого обреченным на гибель?»²⁶

И, тем не менее, Константин решается на, казалось бы, невозможное. Он крадет детей. Временно поселившись в чулане у одной старушки, он обустроивает его для жизни. «Пизонский, пользуясь теми часами, когда наигравшиеся дети засыпали, натаскал на бабушкин двор мешком глины, вымазал чулан самым тщательным образом, напихал в подполье земли, сложил крошечную печурку и, наконец, спокойно крякнул.

У-у! как богат и как счастлив был теперь Пизонский, и каким назидательным примером он мог бы служить для великого множества людей, разрешающих проблематические трактаты о счастье!»²⁷. Чтобы назидание для любителей поговорить о несправедливости мира и о невозможности для отдельного человека что-либо в этом мире изменить было более зримым, приведу выдержку из лесковского описания предпринятых Константином Ионычем действий (а именно так теперь своего героя величает Лесков). «Достигнув того, что малосмысленную Милочку можно было оставлять под надзором Глаши, Константин Ионыч начал отлучаться на короткое время из дома и после каждой такой отлучки возвращался всегда домой с покупками, на которые истратил последние два рубля, принесенные им из солдатчины. Прежде всего Пизонский пришел домой с старым муравленым горшком; потом он в несколько приемов натаскал к себе разных негодных баночек, пузырьков и бутылочек и, наконец, принес чернильных орешков, меду и голландской сажи. С этими препаратами и с этим материалом Пизонский уселся перед печкой за химические занятия. Дня через два он вышел из дому

²⁶ Там же, с. 229.

²⁷ Там же, с. 242.

с большой бутылкой чернил и с деревянным ящиком черной, лоснящейся ваксы. На чернилах Пизонский сбанкрутовал, потому что сторожа присутственных мест делали чернила на казенные деньги и, следовательно, могли продавать этот продукт на сторону гораздо дешевле Пизонского; но его свежая вакса оказалась гораздо лучше сухой синей ваксы, получаемой в плитках из Москвы, и эта часть коммерции его выручила. Константин Ионыч совсем ожил и стал еще смелее и предприимчивее. Скоро Старый Город увидал его беспрестанно снующего из дома в дом с набитым ваксою деревянным ящиком и с дешевыми, очень прочными самодельными щетками. Пизонский летал с своим ящиком во все дома, в лавки, в присутственные места, на постоялые дворы; везде он тихо и не спеша снискивал себе общую расположенность, со всеми знакомился и всякому на что-нибудь пригожался. В уездном суде часы были лет двадцать с таким частым боем, что никто не мог счесть, сколько они ударили - час или двенадцать; Пизонский снял часы, попиллил, постучал, и они стали бить отчетисто: раз, два, три - как следует. Отцу протопопу Туберозову он устроил в окне жестяной вентилятор. Отец протопоп похвалил его и сказал: "Да, ты не изящен, но не без таланта". Городскому голове Котин сделал деревянную ногу, чтобы чистить на ней его высокие голенища, и тот тоже не преминул похвалить его. Дьякону Ахилле приправил, по его просьбе, шпоры к сапогам, в которых дьякон намеревался ездить верхом в деревню к знакомым. Правда, что шпоры эти жили недолго, потому что встретивший Ахиллу со шпорами протоиерей Туберозов тут же велел эти шпоры отломить; но тем не менее и эти шпоры все-таки тоже были за Пизонского. Потом Пизонский кому починил зонтик, кому полудил кастрюлю, кому спаял изломанные медные вещи, склеил разбитую посуду, и Старый Город не успел оглянуться, как Пизонский в самое короткое время прослыл в нем самым преполезным человеком. Теперь, кажется, если бы Пизонский сам задумал почему-нибудь оставить Старый Город, так все бы заговорили в один голос: "Нет, как же это мы останемся без Константина Ионыча?"

Почтмейстерша, слывшая за большую хозяйку и великую ехидну, даже уж вперед несколько раз публично выражала такое мнение, что без Пизонского в Старом Городе и жить было бы невозможно»²⁸.

Думаю, что трактовка образа Котина Пизонского (так замордованный товарищами и учителями ребенок в психологическом ступоре писал на доске свое имя «Константин») Лесковым мыслилась не иначе, как нечто, высказываемое «в пику» поискам «новых» людей революционными демократами. Однако, продолжая начатую во второй книге тему «позитивного дела», нельзя не предположить следующее. Возникшее, возможно, с Гоголя – с оставленного без ответа вопроса Чичикова в адрес предпринимателя Муразова – как он заработал свой первый миллион, и начинается размышление в русской литературе о проблеме «позитивного дела». Тема эта, как отмечалось, захватила Тургенева-романиста, Гончарова, Льва Толстого, Чернышевского. Продолжилась она и позднее, в частности, в прозе и драматургии Чехова. У автора «Трех сестер», в частности, в большом рассказе «Моя жизнь» главный герой Мисаил Полознев проделывает примерно такой же путь, как и Котин Пизонский: он приучает своих сограждан к тому, что имеет и реализует одно из прав свободного человека – право заниматься тем делом, которое он выбрал для себя сам. Как и у Лескова, это рассказ о «самостроительстве» человека вопреки обстоятельствам. Отмечу, однако, что в заявлении этого права в русской классической литературе Лесков был, пожалуй, первым.

То, что на тему «нового» человека, в том числе и в трактовке революционных демократов, Лесков реагировал с самого начала творчества, видно, в том числе, и по некоторым косвенным признакам, обнаруживаемым в текстах на другие сюжеты. Так, в «Леди Макбет...», рисуя одну из арестанток, которая ни в чем не делала отказа никому из домогающихся ее арестантов-мужчин, автор иронично замечает: «Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, арестантских партиях и

²⁸ Там же, сс. 242 – 244.

петербургских социально-демократических коммунах»²⁹. Но вот вопрос - как позитивно переустроить жизнь, как сделать так, чтобы в ней торжествовали добро и справедливость, Лесков задавал себе постоянно.

Если же говорить об этом в общем, то тот путь, на который указывали русские литераторы-классики, о чем шла речь в предыдущей книге исследования, «нетерпеливцам» казался длинным и заранее не обеспеченным. К тому же, как точно определил Лесков в цитируемой статье о Чернышевском, «дерзость и невежество нигилиствующих Рудиных не имеют пределов и доходят до злобы», а «новых», на самом деле – «добрых людей», мало. И другого ответа, кроме как продолжать упрямо и неуклонно делать свое «позитивное» дело, «постепеновцы», Лесков в том числе, не знали. Вместе с тем, вести себя так, будто ничего не происходит и не отвечать «нетерпеливцам» тоже было нельзя. И потому Н.С. Лесков пишет роман «Некуда».

* * *

То, с какою ненавистью и изощренной подлостью отреагировала на появление романа так называемая «прогрессивная социал-демократическая литературная общественность», само по себе достаточно яркое свидетельство для ее исторической оценки. Я уже цитировал высказывания по этому поводу Д. Писарева, и чтобы не приводить длинный перечень прочих подобных, сошлюсь на итожащее замечание М. Горького по поводу травли Лескова: «Это было почти убийство»³⁰. За написанный роман автор «Некуда» платил многим. Но, может быть, самой дорогой была плата отлучением от печатания: «...Я ряды лет лишен был возможности работать...», - приводит его признание сын³¹.

Что же так возмутило и стало причиной столь сильной ненависти «прогрессивной общественности»? Разгадка дается самим автором, когда он

²⁹ Там же, с. 134.

³⁰ Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 87.

³¹ Андрей Лесков. Жизнь Николая Лескова. М., Художественная литература, 1984, т. 1, с. 252.

говорит о том, что просто срисовал картину «развития борьбы социалистических идей с идеями старого порядка. Там не было ни лжи, ни тенденциозных выдумок, а просто *фотографический отпечаток* того, что происходило»³². Вглядимся и мы в этот старый, но уцелевший под воздействием времени дагерротип.

Роман начинается приездом в родные места двух девушек – Лизы Бахаревой и Женни Гловацкой, окончивших учебу в московском институте и проникнутых «прогрессивными» идеями. Не буду подробно пересказывать содержание романа. Остановлюсь на его главных линиях и структуре.

Две девушки – два основных сюжетных русла, посредством которых нам показывают разные истории «течения болезни», которой заразились и которую обе вынесли из «просвещенного» заведения. Лиза, не нашедшая ожидаемых сердечности и понимания в семье, с родным домом рвет, пускается в полу-бродяжническую жизнь «новых людей», делается причиной преждевременной смерти своих родителей и в конце концов умирает. Женни, сосредоточившаяся первоначально на заботе-любви к своему старику-отцу, этой любовью и последовавшей затем обычной «мещанской» жизнью - замужеством и семьей - спасается сама и впоследствии неоднократно, хотя и безуспешно, пытается спасти Лизу. При этом, в заботе Женни о своей семье не было ничего сверхъестественного, но с ее приездом все в доме «пошло жить. Ожил и помолодел сам старик, сильнее зацвел старый жасмин, обрезанный и подвязанный молодыми ручками; повеселела кухарка Пелагея, имевшая теперь возможность совещаться о соленьях и вареньях, и повеселели самые стены комнаты...

Вообще она стала хозяйкой не для блезиру, а взялась за дело плотно, без шума, без треска, тихо, но так солидно, что и люди и старик отец тотчас почувствовали, что в доме есть настоящая хозяйка, которая все видит и обо всех помнит.

³² Там же, с. 253.

И стало всем очень хорошо в этом доме»³³.

Собственно основное действие романа начинается с появления в нем «новых людей». При этом, не смотря на все их индивидуальное различие, у них, между тем, есть и общие, объединяющие их черты. Одна из них – их неустройство, неадекватность жизни, причем происходит это, как правило, не из-за стечения каких-то неблагоприятных обстоятельств или вообще внешних трудностей, а по их собственному нерасположению к гармонии с самими собой и с внешним миром. Причем их дисгармоничность очень редко идет от какой-то высокой цели, как это показано, например, фигурой швейцарца Райнера, приехавшего в Россию по идейным соображениям социалистического толка³⁴. Райнер, кстати, и оказывается наиболее привлекательной, выделяющейся своей искренностью, беззаветностью в служении делу, работоспособностью и честностью фигурой среди «кодла», по определению Лескова, «новых людей». Он, кстати, тот единственный финансовый источник, за счет которого безбедно месяц из месяца бездельничают «коммунары» и который они беззастенчиво обворовывают, в том числе и тогда, когда он серьезно заболевает.

У «ассоцианеров», поскольку каждого из них Лесков изображает не только в сообществе, но и индивидуально, вообще все «через пень-колоду» и «лишь бы как». Так, дом одного из них – какое-то нагромождение помещений, не приспособленных для жизни, стол таков, что одинаково может быть отнесен и к обеденному, и к письменному, и к игорному, и даже к швальному. А кресло, на которое присаживается в этом доме доктор Розанов, тут же подламывается. Все коммунары - люди праздные, во всяком случае ежедневное ничегонеделание не вызывает у них отторжения, а житье за чужой счет – внутреннего протеста. Верховодит ими некто Белоярцев -

³³ Лесков Н.С. Цит. соч., т. 2, сс. 130 – 131.

³⁴ В скобках надо отметить, что сама по себе дисгармоничность человека с миром, то, что мы называем неудовлетворенностью, не может заранее считаться его пороком. Напротив, часто это является основанием для позитивного преобразования мира. То есть, вопрос всегда - в чем и ради чего возникает и выдерживается дисгармония.

ловкий тип, явный авантюрист, живущий одним днем, который находит удовольствие в командовании, позерстве и самолюбовании.

«Коммуна» как практическая реализация социалистического замысла соотносима в романе с неким «теоретическим центром» - кружком-салонном известной «либеральными настроениями» маркизы и сворой болтающих на «революционную проблематику» старых дев, названных в романе «углекислыми феями Чистых Прудов», живущих в доме, известном под именем «вдовьего загона». Все идеи маркизы, вводит нас в существо дела автор, происходили вследствие того, что она, как говорят поляки, «имела зайца в голове». И вот этот-то заяц «до такой степени беспутно шнырял под ее черепом, что догнать его не было никакой возможности. Даже никогда нельзя было видеть ни его задних лапок, ни его куцого, поджатого хвостика. Беспокойное шнырянье этого торопливого зверька чувствовалось только потому, что из-под его ножек вылетали: «чела общественной лестницы» и прочие умные слова, спутанные в самые беспутные фразы.

...К тому же маркиза была поэт: ее любила погребальная муза»³⁵.

Обо всех этих персонажах мы узнаем посредством одного из героев романа – доктора Розанова, волею судеб оказывающегося в контактах со всеми персонажами и выступающего от лица нормального человека – автора. Его личная история, равно как и профессия, позволяют нам видеть и сопоставлять реальный (нормальный) мир обычных людей и ирреальный (отчасти придуманный и фальшивый) мир людей «новых». И точно так же как в ирреальном мире есть свои центры силы, вроде маркизы «с зайцем в голове», в мире реальном есть нормальные люди, занятые трудом или серьезными делами (как доктор-исследователь Лобачевский), которым до мира юродствующего нет никакого дела. В размышлениях об этом мире Розанову припоминается «труженик Нечай с его нескончаемой работой и спокойным презрением к либеральному шутовству, а потом этот спокойно следящий за ним глазами Лобачевский, весь сколоченный из трудолюбия,

³⁵ Там же, сс. 321 – 322.

любезности и настойчивости; Лобачевский, не удостоивающий эту суету даже и нечаевского презрительного отзыва, а просто игнорирующий ее, не дающий Араповым, Баралям, Бычковым и tutti frutti даже никакого места и значения в общей экономике общественной жизни»³⁶.

Только два персонажа среди «новых» людей могут вызвать симпатии читателя. Это Райнер – подлинный поборник социалистической идеи и несостоявшийся ученый, выросший в России поляк Юстин Помада. Оба в конце концов уходят от болтовни в реальное политическое дело и заканчивают свой путь гибелью в составе разбитого русскими войсками польского отряда повстанцев. Впрочем, обе эти фигуры случайны не только для занимающего их некоторое время конкретного дела – «ассоциации», но и для жизни вообще. Так, Райнер – случайно выживший в своей стране, добровольный пришелец в чужую ему Россию. Еще более случайный в этой жизни незадачливый и, по сути, бездельный (в помещичьей семье он «преподавал» детям чистописание) кандидат юридических наук учитель Помада. Вот, например, что с ним происходит уже в самом начале романа, в момент приезда домой Лизы Бахаревой. Размышляя о некоей благоприятной для себя неожиданной возможности, которая в один момент переменит его жизнь, Помада говорит сам себе: «Стоит ведь вытерпеть только. Ведь не может же быть, чтоб на мою долю таки-так уж никакой радости, никакого счастья. Отчего?.. Жизнь, люди, встречи, ведь разные встречи бывают!.. Случай какой-нибудь неожиданный... ведь бывают же всякие случаи...»

Эти размышления Помады были неожиданно прерваны молнией, блеснувшей справа из-за частокола Бахаревского сада, и раздавшимся тот час же залпом из пяти ружей. Лошади храпнули, метнулись в сторону, и, прежде чем Помада мог что-нибудь сообразить, взвившаяся на дыбы пристяжная подобрала его под себя и, обломив утлые перила, вместе с ним свалилась с моста в реку»³⁷. Случай этот стоил Помаде сильнейших ушибов и вывиха, от

³⁶ Там же, сс. 406 – 407. Tutti frutti (итал.) - всякая всячина.

³⁷ Там же, с. 49.

которых он оправлялся долго. При этом надо сказать, что из подобно рода «неожиданностей» слагается вся жизнь этого нелепого, симпатичного и честного, но удивительно не приспособленного к жизни героя романа.

К магистральным критическим размышлениям Лескова о природе и путях становления в России «позитивного дела» и возможности появления действительно «новых (добрых) людей», как о них говорит автор «Некуда» в цитированной статье о Чернышевском, непосредственно примыкает рассказанная в романе история о «бунте» и последовавшей за ним массовой смерти сидящих в клетках соловьев.

Вот она: «Комната, в которой я спал с соловьями, выходила окнами в старый плодovitый сад, заросший густым вишенником, крыжовником и смородинойю.

В хорошие ночи я спал в этой комнате с открытыми окнами, и в одну такую ночь в этой комнате произошел бунт, имевший весьма печальные последствия.

Один соловей проснулся, ударился о зеленый коленкоровый подбой клетки и затем начал неистово метаться. За одним поднялись все, и начался бунт. Дед был в ужасе.

- Ему приснилось, что он на воле, и он умрет от этого, - говорил дед, указывая на клетку начавшего бунт соловья.

Птицы нещадно металась, и к утру три из них были мертвы. Я смотрел, как околевал соловей, которому приснилось, что он может лететь, куда ему хочется.

Он не мог держаться на жердочке, и его круглые черные глазки беспрестанно закрывались, но он будил сам себя и до последнего зевка дергал ослабевшими крыльями»³⁸.

История эта, приведенная в романе в связи с иным сюжетом – медленным угасанием отца Лизы – Егора Николаевича Бахарева, на самом деле многозначна. В лесковских размышлениях о свободе в России и «новых

³⁸ Там же, с. 512.

людях» она обозначает еще одну, к сожалению, так же тупиковую, линию анализа возможностей развития страны. Мечтания о действительной свободе и действительно позитивном деле в России, в которой только что сама власть приказала отменить рабство для своих подданных, вдвойне утопичны, потому что, в отличие от соловьев, когда-то до поимки живших на свободе, жителям этой страны ничего подобного не снится. Точнее – давно нет тех поколений, которые бы помнили, что такое жизнь на свободе и своей тоской могли бы добавить воли к свободной жизни другим. Это не значит, что вовсе не нужно делать попыток к изменению жизненных условий. Это значит лишь то, что задача эта не так проста, как представляется изображенным в романе «новым людям».

Сами же эти «новые люди» ничего, кроме недоумения, а зачастую и презрения, ни у автора, ни у читателя не вызывают. Вот, например, их, так сказать, групповой портрет: «Это была самая разнокалиберная орава. Тут встречались молодые журналисты, подрукавные литераторы, артисты, студенты и даже два приказчика.

Женская половина этого кружка была тоже не менее пестрого состава: жены, отлучившиеся от мужей; девицы, бежавшие от семейств; девицы, полюбившие всеми сердцами людей, не имевших никакого сердца и оставивших им живые залогов своих увлечений, и *tutti quanti* в этом роде.

Все это были особы ...умственного пролетариата...

Другие из *людей дела* вовсе не имели никаких определенных средств и жили непонятным образом, паразитами на счет имущих, а имущие были тоже не бог весть как сильны и притом же вели дела свои в последней степени безалаберно. ...Здесь преобладала полная беззаботливость о себе и равносильное равнодушие к имущественным сбережениям ближнего. Жизнь не только не исчезла в заботах о хлебе, но самые недостатки и лишения почитались необходимыми украшениями жизни. Неимущий считал себя вправе пожить за счет имущего, и это все не из одолжения, не из-за содействия, а *по принципу*, «по гражданской обязанности». Таким образом, на

долю каждого более или менее работающего человека приходилось по крайней мере по одному человеку, ничего не работающему, но постоянно собирающемуся работать»³⁹.

По оценке старой крестьянки – няни Лизы Бахаревой, по приказу умершего Лизиного отца охранительно сопровождающей девушку в ее странствиях в мире «новых людей», одни из описанных персонажей были «простяки и подаруи», и другие «дармоеды и объедалы». Однако и ее, неграмотной старухи, трезвая оценка, расходится с затуманенными социалистическими фантазиями оценкой честного Райнера: ««Это и есть те полудикие, но не вывихнутые цивилизацией люди, с которыми должно начинать дело», - подумал Райнер и с тех пор всю нравственную нечисть этих людей стал рассматривать как остатки дикости свободолюбивых, широких натур»⁴⁰.

Впрочем, в конце концов Райнер прозревает. В своем заключительном разговоре с Лизой он произносит приговор «делу» «новых людей»: «...От всей души желаю, чтобы так или иначе скорее уничтожилась жалкая смешная попытка, профанирующая учение, в которое я верю. Я, социалист Райнер, буду рад, когда в Петербурге не будет Дома Согласия. Я благословлю тот час, когда эта безобразная, эгоистичная и безнравственная куча самозванцев разойдется и не станет мотаться на людских глазах»⁴¹. И в этом же разговоре звучит и естественное продолжение «социалистической затеи» - надежда на то, что если Россия не годна для этого эксперимента, то не одна же она страна на свете: «Так клином земля русская и сошлась для нас!», - с пафосом провозглашает неугомонно-фанатичная Лиза.

И в самом деле – мировой революционер Райнер отправляется воевать в Польшу. Лиза же, так и не сломленная в своем желании включиться в истинную борьбу за «новое время», умирает. Последние слова ее, сказанные Женни, таковы: «...С ними у меня общего... хоть ненависть... хоть неумение

³⁹ Там же, сс. 543 - 544. Tutti quanti (итал.) – все такие.

⁴⁰ Там же, с. 545.

⁴¹ Там же, с. 630.

мириться с тем обществом, с которым вы все миритесь... а с вами... ничего, - добавила она и захлебнулась»⁴².

Но ни этой печальной нотой завершается роман. Многократно и постоянно звучащее в разных негативных контекстах его ключевое слово «некуда» в финале обретает неожиданно позитивный смысл. Рассуждая о продолжающейся в печати болтовне литературных «новых людей», один из подлинных людей дела, не чуждый, к тому же, и исполнения обязанностей, связанных с зарождающимся в России земством, так итожит свою речь: «Я, брат, точно, сердит. Сердит я раз потому, что мнедохнуть некогда, а людям все пустяки на уме; а то тоже я терпеть не могу, как кто не дело говорит. Мутоврят народ тот туда, тот сюда, а сами, ей-право, великое слово тебе говорю, дороги никуда не знают, без нашего брата не найдут ее никогда. Все будут кружиться, и все сесть будет некуда»⁴³.

Дорогу и место, на которое может на время опуститься уставший русский путник, определяют, полагает Лесков, настоящие люди дела. Естественно, такое вывод оказался сильно не по нраву разворачивающимся в России революционерам и «углекислым феям Чистых Прудов». Впрочем, хотя в настоящем времени им не было места, их историческое время, к сожалению, все-таки было впереди.

⁴² Там же, 691.

⁴³ Там же, с. 708.